



Часть первая

ПОРЫВ К ВЛАСТИ

1

Все гости входили пристойно: аккуратно открывали и прикрывали дверь в гостиную, сначала громко здоровались сразу со всеми, потом чинно обходили комнату, рукопожатствуя с каждым. Он не вошел — ворвался. И так хлопнул дверью, словно хотел с ней расправиться. И прямо с порога крикнул нам:

— Это безобразие! Спрашиваю: как это вам понравится?

В эту минуту я увидел его впервые. Впоследствии я научился отделять его внешность от характера, но тогда меня поразило, насколько облик ворвавшегося в комнату человека не координируется с его поведением. Сейчас портреты Гамова висят в миллионах квартир — никого не удивить подробным описанием его наружности. Но, повторяю, меня поразила не внешность Гамова, в общем вполне ординарная: невысок, широкоплеч, крупноголов, туловище плотное, ноги коротковаты, руки еще короче, — а именно то, что обыденнейший вид никак не сочетался с необыкновенной манерой вести себя.

— Алексей Гамов, по профессии — астрофизик, по душе — отпетый философ, по натуре — взбесившийся бык, — сказал Павел Прищепа, инженер моей лаборатории. Павел привел меня на «четверг» у Готлиба Бара, пообещав, что встречу с интересными людьми и получу удовольствие от умных разговоров в смеси с безумными выходками. Не знаю, относил ли Павел красочное появление Гамова к обещанным «безумным выходкам», но Гамова он обрисовал точно, в этом сейчас не сомневаюсь.

Готлиб Бар, «хозяин четверга», знаток литературы, ироник и циник, один отозвался на громкое воззвание Гамова:

— Один мой приятель сработал пьеску и назвал ее: «Как вам это понравится?» Он подразумевал, что ни пьеса, ни зрители, которые

будут ее хвалить, ему самому не по вкусу. У меня такое же отношение — не нравится. Удовлетворил мой ответ?

— Еще меньше, чем пьеса твоего приятеля! — Гамов плюхнулся в кресло, вытянул ноги и энергично хлопнул себя по коленям короткими сильными руками — видимо, давал выход чувствам (потом я часто видел у него этот жест, когда он бесился). — Догадываешься — почему? Ты же не знаешь, о чем я спрашивал.

— Не знаю, — согласился Бар. — Но какое это имеет значение? Что бы ты ни имел в виду, ответ может быть только в двоичном коде: да или нет. Слово «нравится» мне нравится гораздо меньше, чем «не нравится». Ибо и в совершенстве есть изъяны, и на солнце есть пятна. «Нет» всегда обоснованней, чем «да». Вот почему отвечаю спокойно: нет!

Гамов вдруг стал очень серьезным. Он был мастер на внезапные переходы от возмущения к добродушию, от бешенства к спокойствию, от равнодушия к ярости. Мгновенные перемены настроений входили в систему приемов, которыми он сражал противников.

— Значит, не дошли последние сообщения, — сказал он. — Так вот: Артур Маруцян выступил с новой речью. Он обещает помощь Патине против Ламарии в их вековечном трагическом споре о каких-то трех вшивых пограничных деревеньках. Завтра начнется мировая война.

— Уж и война! Да еще мировая! Допускаю, пара стычек патрулей, трое раненых, один убитый... Большого споры патинов с лама-рами и не стоят.

— Война! Мировая! Завтра! Не ухмыляйся. Говорю, не говорю — кричу: завтра война! И всем нам — крышка. Всему миру крышка!

Он, конечно, не кричал, но постарался, чтобы голос звучал выразительно. Он с вызовом оглядывал гостей Бара. Теперь я должен сказать и о них: многие сыграли роль в последующей драме. Кое-кого я знал и раньше, иных видел впервые. Среди незнакомых выделялся рослый, жилистый, длиннорукий, с аскетическим лицом Джон Вудворт, кортез, лет десять назад переселившийся в Латанию и объявивший, что наконец нашел родину по душе. Это не мешало ему, как я сам потом слышал, гневно ругать наши порядки и восхвалять Кортезию, которой он изменил. Правда, было известно, что на старой родине он не рассыпался в похвалах и ей. Он был из людей, которые видят хорошее лишь там, где их нет.

Второй незнакомец, Аркадий Гонсалес, преподаватель истории искусства, знаток древней живописи, казался сошедшим с одной из старых картин (он только сменил одежду на современную). Узколицый, остроносый, с кожей такой нежной, с талией такой тонкой, с кистями рук такими маленькими, что, переоденься он женщиной, никто бы не догадался, что перед ним фанатик жестокости и силач. Все это я узнал о нем после, а в тот вечер только любовался им — он был незаурядно красив.

Зато третий незнакомец, Николай Пустовойт, желания любоваться им отнюдь не вызывал. О таких, как он, говорят: «Отворотись — не насмотришься». Я не хочу сказать, что он был уродлив — фигура и лицо выглядели вполне нормально, но в целом складывалось впечатление, что он некрасив. Вероятно, это объяснялось несимметричностью: над крупным телом на длинной шее вздымалась маленькая голова, а на мелком лице торчал чрезмерный нос, мощно нависающий над столь же чрезмерным толстогубым ртом. Потом, когда его изображения стали часто передаваться по стерео и печататься в газетах, необычный облик постепенно перестал удивлять. Но в день знакомства я запомнил только огромный нос над широким — за щеки — красным ртом, все остальное на этом лице терялось. К тому же вы невольно ждали, что у крупнотелого и мощноротого Пустовойта и голос окажется громким и повелительным, во всяком случае — четким. А речь была тихой и невнятной, почти смиренной. Он был чутким и мягким, этот странный голос Николая Пустовойта, в тот момент — бухгалтера строительной конторы, а впоследствии — могущественного министра Милосердия (как много, как бесконечно много отчаявшихся людей протягивали к нему руки за помощью!). Сейчас я знаю, что только тихий, добрый голос Николая Пустовойта истинно отвечал его характеру.

Об остальных гостях Готлиба Бара говорить не буду, они сами расскажут о себе в назначенное время; но о «хозяине четверга» упомянуть нужно. Кстати, о забавном прозвище. Оно возникло из его литературных увлечений. Он рассказывал, что какой-то писатель — я его не читал — опубликовал роман под удивительным названием «Человек, который был четвергом». «Я, конечно, не четверг, — важно говорил о себе Бар, — но раз уж собираю вас у себя на четверговые встречи, значит хозяин четверга — наименование точно отвечает моему значению в вашей компании». И хохотал, упоенный хлестким прозвищем. Любовь к позе была главным в нем,

впоследствии моем друге и помощнике. И он искренне считал себя значительней всех нас, ибо умел о любом факте высказать два противоположных мнения — и оба убедительных. Но сразу же отмечу, что этот софист и ерник, в тот момент лишь главный инженер моторостроительного завода, Готлиб Бар глубже нас всех вникал в практические дела и куда лучше выискивал бездны возможностей в каждой безвыходной ситуации. По профессии инженер, он по глубинной сути своей был государственным организатором. И не подозревал об этом, пока его чуть ли не силой не сделали тем, кем он был от природы.

Жена Бара, безликая женщина, вкатила столик с чашками, самоваром и печеньем и тут же ушла. В тот вечер я не рассмотрел ее. И потом, хотя видел сотни раз, так и не запомнил ее внешности. Вероятно, просто нечего было запоминать. Она возникала, что-то делала и исчезала. Все остальное, кроме того, что она возникает и исчезает, не имело значения.

Николай Пустовойт налил себе чаю, схватил печенье — и, звонко хрустя им, заговорил:

— Патины вечно спорятся с ламарами, но почему обязательно война?

Гамов ответил с прежней энергией:

— Потому что ваш любимый вождь, ваш ошалелый дурак, ваше ничтожество Артур Маруцзян обещал сегодня помощь патинам в их пограничных спорах. А патины этим завтра воспользуются.

— Зачем ты так? — с обидой произнес Пустовойт. — Ты же знаешь: я не максималист. Трудно, очень трудно говорить с тобой!

Он отвернулся от Гамова. Эстафету спора перехватил Вудворт. Он не на шутку возмутился:

— А я буду говорить! И не позволю так отзываться о Маруцзяне. Я максималист и высоко чту лидера моей партии. Я не знаю другого такого же...

— Дурака и ничтожества, — хладнокровно повторил Гамов. — К сожалению, иначе назвать вашего лидера не могу. Теперь у вас две возможности, Вудворт: вызвать меня на дуэль или написать на меня донос. Вызывать не советую: стреляю без промаха — сто раз проверено. В дуэли все шансы на моей стороне.

— Есть еще третья возможность, — гневно отрезал Вудворт. — Прекратить всякое знакомство с таким человеком, как вы, Гамов.

И он резко отвернулся.

Гостиная в трехкомнатной квартире Бара была просторная — на три кресла и шесть стульев. Вудворт прихватил кружечку чая и уселся в дальнем углу, демонстрируя равнодушие ко всему, что еще произойдет. Гамов проводил его насмешливым взглядом. На Гамова насел Бар.

— Все, что ты нам тут наговорил, — вздор! И я это докажу.

— Ты все можешь доказать: и что черное абсолютно бело, и что белое черным-черно.

— Ограничусь пока тем, что белое — бело. Отвечай: можно ли начать большую войну без подготовки? Без накопления материальных ресурсов, резервов оружия, без скрытой мобилизации?

— Невозможно. Ну и что?

— А то, что такой подготовки нет. Мы ее не видим, а ведь скрыть ее невозможно. Тебя это не убеждает?

— Убеждает в том, в чем я давно убежден: если Маруцзян и маршал Комлин начинают большую войну, предварительно к ней не подготовившись, то им нельзя управлять страной. Нас разобьют.

Бар обратился к молчаливому Казимиру Штупе, военному метеорологу, — я с ним встречался в семье Павла Прищепы. Генерал Леонид Прищепя, отец Павла, по должности соприкасался с метеорологической службой, молодой ученый ему нравился. А Павел со Штупой дружил.

— Надеюсь, Казимир, вы не выдадите государственных секретов, если скажете, есть ли изменения в режиме метеорологических станций? Судя по тому, что небо безоблачно и ветра нет, больших нарушений погоды не ожидается? Я верно оцениваю обстановку?

Штупа пожал плечами. Погода может измениться ежечасно. Стоит говорить лишь о запланированной стабильности климата, но не о постоянстве ветра или дождя. Опасных нарушений метеорологической обстановки пока нет. И особых мер по сохранению климата не предписано. Кстати, на ближайшие двое суток планируется отличная погода.

— Ты слышал, Гамов? — Бар любил побеждать в перепалках и умел это делать. — Нарушений климата не предвидится, а без этого крупная война невозможна. В старину обходились маршами пехоты и наступлениями бронетанковых армий. Современная добротная война — это прежде всего жестокая метеосхватка. Разве не так?

Гамов снова изменился — согнулся в кресле, криво усмехаясь. Он вдруг словно постарел на десяток лет. Такое нельзя было сыграть — его искренне терзали страшные предчувствия.

— Добротная война? — сказал он горько. — Бессмысленная, так правильной. Преступление перед человечеством, какого еще не бывало!

— Все войны по-своему преступны. Ибо приводят к гибели невинных и непричастных людей. Ты это хотел сказать?

— Бессмысленная война, — повторил он. — Много было войн в истории, в некоторых имелся свой смысл. А в той, что разразится, смысла нет. Она бесцельна и потому преступна.

До этой минуты я только молчал и слушал. У меня не было своего мнения. Я еще не думал, скоро ли война, будет ли она вообще. Великие события мира от меня не зависели. Но мысль о бессмысленности новой войны заинтересовала. Я попросил объяснения.

Гамов ответил лекцией. В ней уже были те идеи, с которыми он впоследствии обращался ко всему миру. Но в тот вечер я не был к ним готов. Я был пропитан традиционными воззрениями на войну как на продолжение государственной политики. Как-то в музее я видел старинную пушку, на ее дуле змеилось изречение: «Последний аргумент королей». Королей осталось мало. Но для председателей и президентов, сменивших венценосцев, этот «последний аргумент» был по-прежнему самым веским доводом. Многое в речи Гамова показалось мне либо блажью, либо любовью к парадоксам. Зато пафос ее увлек.

После того вечера многие миллионы людей — и друзья, и враги — многократно слышали Гамова, и на всех действовало не только *что*, но и *как* он говорил. Он умел убеждать, потому что сам был безмерно убежден. От его голоса, от силы его слов надо было либо заранее готовиться защищаться, либо безвольно подчиняться их действию. Но я впервые слышал его речь, не реплики в споре, не игру в словесные парадоксы — и не подготовил защиты. Меня заполнила страсть, негодование и боль, возмущение и сострадание, не сопровождавшие рассказ о войнах, что уже были, и о войне, что готовилась, нет, повторяю, не сопровождавшие, а возникавшие как что-то неотделимое от мысли и слов. Я всем в себе резонировал на речь — так, наверное, горячая молитва верующего порождает в нем самом ответный словам поток столь же горячих чувств. Гамов потом говорил, что я не только верный его последователь, но и пер-

вый из учеников. Сомневаюсь, что в тот вечер у Бара я уже стал его последователем. Но что психологически готов был им стать, убежден абсолютно.

После речи Гамова стало неинтересно говорить о чем-либо другом. Чай был допит, печенье съедено. Вновь появилась призрачная жена Бара и убрала столик с пустым самоваром. Мы начали расходиться. Первыми ушли Павел Прищепа с Казимиром Штупой. Когда я оделся, только хмурый Джон Вудворт еще оставался в кресле. Я вышел вместе с Гамовым. Над землей сияла полнозвездная ночь.

— Нам по дороге, — сказал Гамов. — Почему вы так всматриваетесь в небо, Семипалов?

— Давно не видал яркого ночного света. Наверху устроили торжественный пленум звезд. Все светила на месте, ни одно не прикрыто облачком.

— Все светила на месте... — рассеянно повторил он.

На великолепно иллюминированном небе сверкала белая Вега, неподалеку тонко сияли Плеяды, летящая коляска Кассиопеи стремилась захватить сверкающих соседей, уже склонялась к горизонту горбатая Большая Медведица. И, расплескав могучие крылья, звездный Орел тремя ярчайшими светилами бурно мчался прямо на Вегу. Всем своим блеском небо безмолвно свидетельствовало о спокойствии.

Мне захотелось подразнить Гамова.

— Гамов, звездное небо доказывает безопасность. Непохоже, чтобы готовилась война.

Он вдруг остановился, с ним это случалось часто — внезапно замирать во время ходьбы.

— Красота этого неба свидетельствует не о безопасности, а о беспечности наших руководителей. Они не понимают, какую кашу заваривают. Уверен, что в эту минуту на всех метеогенераторных станциях Кортезии спешно форсируются режимы.

— У нас договор с ними о плановой эксплуатации циклонов.

— Плюют они на договоры! А если сегодня еще не плюнули, завтра обязательно это сделают! Вы главного не понимаете, Семипалов: кортезы — хищники, а мы — дураки! Они ждут лишь повода, чтобы напасть. В такой момент объявить о поддержке патинов!..

— Патины наши союзники...

— Союзники! А какая нам польза от союза? Добро бы они только укрывались за нашей широкой спиной... Но патины воинствен-

ны не по реальной силе! Вилькомир Торба, напыщенный индюк, втравит нас в драку с Кортезией ради своих крохотных интересов. Заставит нас воевать, а при первом поражении сразу изменит.

— Вы пессимист, Гамов. Такое неверие в союзников!

— Я реалист и не дурак.

Я потянул его за руку. Не терплю, когда ни с того ни с сего вдруг останавливаются на полушаге. Он очнулся. Теперь он шел так быстро, что я еле поспевал за ним.

— Куда вы торопитесь, Гамов?

Он не сбавил шага.

— Не могу идти медленно, когда думаю. И не люблю ночных улиц. Столько дряни выплескивается наружу. Каждую минуту ожидай бандитя. Стараюсь обходиться без поздних прогулок.

В городе и вправду становилось все больше хулиганов. Полиция поддерживала сносный порядок лишь на центральных проспектах, а Готлиб Бар жил на окраине.

Несколько минут мы шли молча. Потом увидели впереди двух женщин. Они обернулись, разглядели, что мы приближаемся, и ускорили шаг. Гамов засмеялся: его позабавило, что нас приняли за хулиганов. Он сбавил ход, расстояние между нами и женщинами стало увеличиваться. На новом повороте улицы мы перестали их видеть — и сейчас же услышали крики. Я оглянулся — нет ли поблизости полицейского или других прохожих. Гамов толкнул меня в плечо.

— Бегом! Не стойте как истукан!

Он так рванулся вперед, что я догнал его лишь за поворотом. Женщины пытались вырваться из кольца обступивших их пятых парней. Двое зажимали одной из них рот и тащили с собой, вторая, не переставая кричать, отбивалась от остальных. Увидев нас, от группы отделился самый рослый — и схватился с Гамовым. Двое парней кинулись на меня, двое продолжали возиться с женщинами. Мои противники были из зверья, бравшего многолюдством стаи, но не умением драться. Одного я ударил ногой в пах, он завертелся, заверещал, сжимая живот, и выбыл из схватки. Второй был проворней и сильней. Он парировал мой выпад, а от его удара в голову я еле устоял на ногах: здания, как живые, вдруг запрыгали перед глазами. Я прислонился спиной к стене. И в это мгновение услышал дикий вопль, потом звериный визг. Я ударил своего противника в плечо, он охнул и отшатнулся — и, на несколько секунд

освобожденный, я увидел, что Гамов и его враг катаются по мостовой. Противник Гамова был на голову выше его, успел выхватить нож, но Гамов повалил его наземь и, выкручивая руку с ножом, зубами впился ему в подбородок. Даже в малярийном бреде не вообразить зрелища чудовищней: страшно выкаченные глаза обоих, нелепо вывернутая кисть нападавшего и залитый кровью рот Гамова, грызущего парня. Тот отчаянно старался свободной левой рукой оторвать от себя Гамова, но не мог — и визжал и выл звериным воем.

Парни, возившиеся с девушками, поняли, что драка пошла нешуточная, и поспешили на помощь своим. На меня опять навалились двое, третий, стараясь вызволить высокого балбеса, выдиравшегося из мертвой хватки Гамова, тоже выхватил нож, но все не мог пустить его в ход: два тела на земле дергались и взбрыкивали так, что он боялся попасть в своего. Пятый, выключенный ударом в пах, тяжело стонал и все не отрывал рук от живота.

Мои противники ножей не вытащили — одолевали силой. Но из-за поворота вдруг вырвался Джон Вудворт.

— Держитесь! Иду! — кричал он, набегая.

В следующий миг один из моих противников отлетел и ударился головой о стену. Второй согнулся под ударом тяжелого кулака Вудворта, и я его срубил. Впрочем, оба тут же вскочили и удрали. Мы с Вудвортом бросились к Гамову. Парень, крутившийся вокруг двух катающихся тел, тоже пустился наутек. На месте остались два поверженных врага: мой первый противник, не отрывавший обеих рук от паха, и верзила, приподнявший голову и рукой ощупывавший окровавленное лицо. Он уже не визжал, а в голос плакал и твердил:

— Разве так можно драться? Разве так можно?..

Гамов, встав с нашей помощью на ноги, сразу успокоился. В ту первую встречу я еще не привык к мгновенным переменам его состояния — и меня поразило, как быстро он перешел от звериной ярости к почти безмятежному хладнокровию. Он аккуратно вытер залитое чужой кровью лицо, дико выкаченные еще минуту назад глаза глядели уже спокойно, почти весело. Он протянул руку Вудворту.

— Вы нас выручили. Благодарю.

Вудворт без охоты пожал руку Гамова. Он еще не забыл их резкий спор у Бара. Он был не из отходчивых.

— Что делать с подонками? — Он показал на парней.

— Сдадим в полицию, там дознаются и о сбежавших друзьях, — предложил я.

— Отпустим, — решил Гамов. — Что им полиция? Каждый не раз прохладжался в полицейских камерах. Но я раньше поговорю с ними. Вставай! — приказал он, толкнув ногой лежащего.

Мой противник, еле держась на трясущихся ногах, уже не стонал и не прижимал руки к животу, но опухшее лицо и безумные глаза показывали, что боль от жестокого удара не проходит.

А верзила, дравшийся с Гамовым, выглядел еще хуже: лицо было залито кровью, правая рука повисла. И он все твердил, плача:

— Разве так дерутся? Руку выломал, рожу перекусал, как бешеная собака... Люди вы или не люди? Так же нельзя драться!

— Замри! — велел Гамов. — Не испускай скверных звуков. Слушайте меня, остолопы. Моя фамилия Гамов. Запомнили? И если когда-нибудь увидите меня издали — бледнейте, теряйте голос — и бегите! Понятно?

— Отпустите, в больницу надо! — простонал мой противник.

— Бледнеть, терять голос — и бежать! — повторил Гамов свой странный приказ. Ни я, ни Вудворт понятия не имели, какая грозная правда скрывается в его словах. Гамов опять стал впадать в бешенство. — Кому сказал: потерять голос? Не плакать и не охать! Всем в стае передать: иду на вас, бойтесь! Теперь — наутек!

Наутек оба парня не бросились, но и задерживаться не захотели. Гамов засмеялся, глядя, как они ковыляют. Мы с Вудвортом переглянулись, Вудворт пожал плечами.

— Нагнали на них страха! — с удовлетворением сказал Гамов. — Они будут бледнеть и неметь, услышав о нас.

— О вас, — холодно поправил Вудворт. — Вы назвали только свою фамилию. Впрочем, ваша ярость в схватке, а также умение нашего друга Андрея Семипалова драться, — он церемонно поклонился мне, — впечатлили этих бандитов гораздо больше, чем ваши театральные приказы.

Гамов возразил — и серьезней, чем следовало бы в этой ситуации:

— Вся наша жизнь, дорогой Вудворт, игра на подмостках истории. А в игре слова бьют сильнее обуха и ранят больней ножа. Слово есть дело — и грозное дело, доложу вам! — Он добавил с раздражением: — Председатель вашей партии сегодня произнес несколько слов — и потратил на них ровно столько усилий, сколько нужно,

чтобы выдохнуть из легких немного скверного воздуха. А слова его станут грохотом машин, огнем и пеплом, смертями женщин и детей. Убийственным ураганом пронесутся они по несчастной земле.

— Вы уже говорили на эту тему у Готлиба Бара, правда не столь выпренно, как сейчас, — недружелюбно сказал Вудворт. — Разрешите мне уйти.

И, холодно кивнув, он направился к перекрестку, откуда выбежал на шум драки. Он не придавал значения ни разговору Гамова с двумя хулиганами, ни его мрачному восхвалению могущества слова. На меня яркие слова действуют сильнее, чем на Джона Вудворта, но и я даже отдаленно не представлял себе, что может реально стоять за сценой, разыгранной Гамовым. Не уверен, что он предугадывал, какие наказания обрушит впоследствии на тех, кого назвал «уличным бандитом», какую пропишет судьбу отребью общества. Но что он способен на такие действия, думаю, знал ясно. Я подобной проницательностью, равнозначной прозрению, не обладал.

Зато меня потрясла (это сильное слово — единственно точное) драка Гамова с парнем, замахнувшимся на него ножом. Она не лезла ни в какие рамки. Бандит, рыдавший: «Так не дерутся!», был прав. Так в наше время никто не дрался, да и раньше тоже. Привычная, освященная обычаем драка протекает иначе: ну, обмениваются бранью и проклятьями, ну, наносят друг другу — сама фразеология чего стоит: друг другу, а не враг врагу — кулачные удары, ну — последний аргумент хулигана — втыкают друг в друга ножи. Все просто. Я снова и снова вспоминал: Гамов был в неистовстве, его палила дикая ярость, трясло вдохновение ненависти — такие эмоции несоразмерны с уличной дракой! Я вдруг вспомнил древнего полководца, перед решающей битвой наставлявшего своих солдат: «Бейте дротиком в лицо, а не в грудь и не в живот. Враги знают, что раны и смерть в бою возможны, заранее идут на это, но уродство для молодых вражеских всадников непереносимо, они будут отшатываться перед копьями, а не бросаться на них». Тот полководец, конечно, победил, но он сражался за владычество над миром, да к тому же у его врагов было вдвое больше войска, победа требовала хитрости. Но за что боролся Гамов? К чему бы такое исступление?

На следующем перекрестке Гамов остановился.

— Вам направо, мне налево. Мы провели нехороший вечер — и поспорили, и подрались, и можем спать в ожидании какого-то завтра.

— Вечер был нехорошим, вы правы, — сказал я. — Против спора ничего не имею, но драка меня не восхитила. До отличного завтра.

— Я не верю в хорошее будущее, — буркнул он и ушел.

Я медленно двигался по ярко освещенной, пустой улице. Было еще не поздно: только перевалило за полночь, но город словно вымер. Волчьи стаи хулиганья владычествовали в ночные часы — жители рано запирались в квартирах. Я не опасался нового нападения: хулиганы поделили между собой городские районы, одна шайка не совалась во владения другой. Мы проучили пятерых местных, а других не приходилось ждать.

И я поднимал голову, любовался небом — звездный мир ликовал, вселенная предавалась какому-то величественному торжеству. Из-за крыш выдвинулся Орион, в нем красно калился Бетельгейзе, бело пылал Ригель. И ярчайшая звезда неба, великий Сириус медленно приподнимался над зданиями. Меня охватил восторг — так прекрасен, так невыразимо прекрасен был мир, который мне сподобилось видеть!

Я не торопился. Дома меня никто не ждал. Жена уехала на лето к своему отцу. Я не был уверен, что она вообще вернется.

Перед отъездом она сказала, что лучше быть одинокой, чем иметь мужа, на самом деле его не имея. Я ответил: уж какой есть... Она может считать себя свободной и поступать как заблагорассудится. Она поблагодарила так зло, что эта благодарность была хуже пощечины. Вот так мы расстались с ней месяц назад.

И у входа в свой дом я еще постоял на улице, радуясь звездному торжеству. Шел второй час ночи. Я открыл дверь и замер. На диване — сидя — спала жена. Я придвинул стул, уселся и стал смотреть на нее. Она казалась усталой и похудевшей, темные полукружья очеркивали сомкнутые глаза. Все это не имело значения. Она была прекрасна. Она была еще красивей, чем в тот день, двенадцать лет назад, когда я впервые ее увидел и когда, знакомя нас, Павел Прищепа шепнул: «Первая красавица института — учти!» Как часто я досадовал, что она так красива: для семейного спокойствия надо бы заводить жену не выше стандартной миловидности. И не я выбрал ее в жены, я не осмелился бы выбрать такое совершенство. Она назначила меня в свои мужья и потом злилась, что я сопротивлялся и даже уверял, что не та-де оправа для драгоценного камня.

С тех дней прошло двенадцать лет — в нас многое изменилось. Во всяком случае, я не ожидал, что она вернется так скоро.

Она открыла глаза и зевнула.

— Я заснула, Андрей, — сказала она сонно.

— Ты еще спишь, Елена.

— Сколько времени? Четыре ночи?

— Только два, Елена.

Она засмеялась:

— Елена, Елена!.. Как ты любишь повторять мое имя.

— Хорошее имя, Елена.

— А я хуже своего имени?

— Лучше!

Она покачала головой. Сейчас пойдут упреки, понял я.

— Я думала, тебе станет свободней в мое отсутствие. При мне ты редко приходил раньше трех. Но вот всего два, а ты уже дома. Без меня квартира приятней?

— В твоё отсутствие я часто совсем не ночевал дома. Сегодня особый случай. Четверг.

— Да, помню: интеллектуальный бал у Бара. Скучное собрание скучных людей в тесной комнатке, где не пройти между стульями. Не понимаю, почему тебя тянет к Бару.

— Была бы сегодня у него, поняла бы. Собрались интересные люди: Джон Вудворт, Казимир Штупа, Николай Пустовойт, Алексей Гамов...

— Вудворта знаю. Кортес с лицом страстотерпца. И Штупу с Пустовойтом встречала. А кто такой Гамов?

Я рассказал о споре, помянул уличную драку. Елена испугалась.

— Ты не ранен? Ушибов нет? Повернись. Вся спина перепачкана. Вот здесь порвано. Ты не терся о кирпич?

— Прижимался к стене, когда насели двое. Если бы не Вудворт, ущерб был бы посущественней, чем разорванный пиджак.

— И брюки перепачканы! Снимай костюм. Утром вычищу.

Я осмелел настолько, что спросил:

— Елена, я боялся, что ты уезжаешь навсегда. Но ты вернулась. Как это понимать?

— Вот так и понимай — взяла и вернулась.

— Тогда разреши спросить...

— Не разрешаю! — она начала сердиться. На нее часто находило — и, бывало, без видимых причин. — И если честно, так сама у себя спрашиваю: почему вернулась?

— И не находишь ответа на слишком трудный вопрос?

— Если бы трудный! Прimitивно простой. И ответ на него примитивно прост. — Она печально улыбнулась — себе, не мне. Она жалела себя — с чем-то не могла справиться. Она всегда хорошо улыбалась, Елена. Она так объяснялась и признавалась. И сразу хотелось сделать для нее что-то доброе. — Я просто окончательно поняла, что жить с тобой трудно, а без тебя невозможно. Первое я устновила давно, а второе стало ясно, когда захотела превратить нашу временную разлуку в постоянную — и не смогла.

Я потянулся к ней. Она покачала головой.

— Отношения выясним завтра. Ужасно хочу спать.

Она ушла к себе. Я еще посидел на диване. Я и радовался, что она вернулась, и боялся завтрашнего объяснения. Как бы она опять не потребовала, чтобы я сломал всю свою жизнь. Я не был тем мужем, какого она заслуживала, не раз пытался им стать — но у меня ни разу не получилось. И уже не получится.

Устав от размышлений, я так и заснул на диване.

И проснулся от грохота снаружи. Я распахнул окно. В комнату ударил ветер, посуда в шкафу зазвенела, стулья тяжело зашевелились. По голове хлестнула портьера, лицо окатило дождем. Над городом бушевал ураган. Одна молния перебивала другую, грохот валился на грохот. В свете небесного пламени ошалело неслись тучи. Ни в каких метеосводках не планировались подобные безобразия, никакие аварии на метеостанциях не могли вызвать подобную бурю!

Я захлопнул окно и включил стерео. Диктор передавал сводку новостей. Патина, не стерпев пограничных провокаций ламаров, ответила сокрушительным ударом. Ее армия смяла вражеские слоны и успешно продвигается к Ламе, столице Ламарии. Коварная Ламария запросила помощи у Кортезии и Родера. Кортезский Амин Аментола произнес угрожающую речь. В портах Кортезии объявлена тревога, заокеанские метеогенераторные станции переведены на усиленный режим. Флот вышел в океан.

— Перед лицом неслыханной провокации правящей клики Кортезии, — торжественно вещал диктор, — наша страна не останется безучастной. Председатель правительства Артур Маруцян подписал указ о мобилизации добровольцев на помощь беззащитной Патине, так долго и так безропотно сносившей издевательства наглых ламаров. В добровольцы принимаются мужчины от восемнадцати